СЕРГЕЙ ЛОЗОВ

ЗЕЛЁНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

ОТЧЁТ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

КАБИНЕТ 14

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ. МЕР НЕ ТРЕБУЕТ



КНИГА ТРЕТЬЯ

СЕРГЕЙ ЛОЗОВ

Сергей Лозов

Отчет с последствиями

«Автор»
2026

Лозов С. Ю.

Отчет с последствиями / С. Ю. Лозов — «Автор», 2026

Капитан юстиции Настя Волкова приезжает в Сосновскую больницу по вызову без основания — с пропуском, столом и табличкой «Кабинет 14». Но здесь всё не так: печь в подвале сорок лет жгла документы, очередь людей не расходится никогда, а в журнале учёта заявлений живёт голос, который советует не подписывать бумаги.Впереди — двести восемь подписей «по поручению», двенадцать коробок в соли, тринадцать личных дел без получателя, цинковый ящик со дна резервуара и хоровое «есть» в холле — слово, которого система не слышала сорок восемь лет. Система отвечает на вскрытие краской и обещает стереть следователя с обратной силой. Но у очереди есть то, чего нет ни в одной ведомости: имена, совесть и бабушкины щи.Сатирический детектив с магическим реализмом: здесь улики нюхают козы, показания снимают с мокрой краски, а правду слушают печью. Третий том о системе, которая подписывала всё, кроме правды. Читать можно отдельно — но, войдя в Сосново, вы останетесь: отсюда не уезжают, отсюда спрашивают.

© Лозов С. Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой мне выдали пропуск, стол и ручку, а я впервые в карьере испугалась ручки 6
ДОКУМЕНТ № 1/III 7
УЛИКА № 1/III 9
УЛИКА № 2/III 10
РЕЕСТР ГЛАВЫ ПЕРВОЙ 11
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я завела личное дело на систему, а система ответила графиком приёма 12
УЛИКА № 3/III 13
ДОКУМЕНТ № 2/III 15
УЛИКА № 4/III 16
РЕЕСТР ГЛАВЫ ВТОРОЙ 17
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой я потребовала акт об утилизации, а утилизированный журнал оказался разговорчивее утилизированного 18
УЛИКА № 5/III 19
ДОКУМЕНТ № 3/III 20
УЛИКА № 6/III 21
РЕЕСТР ГЛАВЫ ТРЕТЬЕЙ 22
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой багажник открылся сам, а завхоз вернулась из отпуска, которого не было 23
УЛИКА № 7/III 24
УЛИКА № 8/III 25
УЛИКА № 9/III 27
РЕЕСТР ГЛАВЫ ЧЕТВЁРТОЙ 28
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой я назвала человека по имени, а имя вернулось с процентами 29
УЛИКА № 10/III 30
УЛИКА № 11/III 31
УЛИКА № 12/III 33
РЕЕСТР ГЛАВЫ ПЯТОЙ 34
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой наступила пятница, Колесников вернулся за подписью, а бланк первый раз выступил против меня 35
УЛИКА № 13/III 37
УЛИКА № 14/III 39
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Сергей Лозов
Отчет с последствиями

СЕРГЕЙ ЛОЗОВ
ЗЕЛЁНЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Книга третья
ОТЧЁТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
сатирический детектив

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой мне выдали пропуск, стол и ручку, а я впервые в карьере испугалась ручки

В понедельник после скамейки мне позвонили из области. Звонок был короткий, формулировка — длинная, и это всегда плохое соотношение: когда человеку говорят сорок секунд, а в бумаге это выходит на полторы страницы, значит, бумагу писали не для него.

— Капитан юстиции Волкова? В связи с производственной необходимостью вам назначается рабочее место по адресу: Сосновская центральная районная больница, отделение N. Явка — завтра к девяти. Пропуск будет оформлен на месте. Смена — до особого распоряжения.

— Простите, а основание? — спросила я.

— Основание — производственная необходимость, — сказали мне терпеливо, как объясняют таблицу умножения человеку, который её оспаривает. — Считайте это повесткой, только вежливой.

Трубку положили первым. Это тоже приём: кто первым положил трубку — тот и не ждёт вопросов. Я записала в реестр: «вызов без повестки, формулировка — „вежливая“, основание — не названо. Вывод предварительный: меня вызывают не туда, где я следователь, а туда, где я буду поднадзорной».

Бабушка, когда я пересказала ей звонок за щами, отреагировала единственным способом, каким в нашей семье реагируют на неприятности: долила щей и заговорила о другом.

— Дочка, в больнице главный вопрос — это не «кто виноват». В больнице главный вопрос — «кто ты там». Придёшь и сразу скажешь: следователь. Сидишь как следователь, читаешь как следователь. Если начнёшь оправдываться, что ты якобы в командировке, — считай, подписала первую бумагу, которую они тебе подсунут. Потому что оправдание — это тоже подпись, дочка, только ручкой, которой машут.

— Баб, а что там вообще по бумагам? Больница отапливается печью, в которой сорок лет жгли документы. Это в каких формах отчётности указано?

— Ни в каких, — сказала бабушка спокойно. — В формах указано «отопление стабильно». А стабильно, дочка, — это когда никто не проверял. У нас стабильно — это не свойство объекта. Это свойство проверки.

ДОКУМЕНТ № 1/III

Наименование: Вызов «для явки на рабочее место»
Форма: Телефонограмма
Основание: Не названо
Сменяющая формулировка: «Производственная необходимость»
Статус: Исполнению подлежит. Содержанию — не верит.
* * *

В девять ноль пять вторника я стояла у проходной больницы с паспортом и без настроения. Пропуск мне оформили за четыре минуты — женщина в окошке заполнила бланк, спросила фамилию и поставила печать, не глядя на меня. Печать легла чуть наискось. Я запомнила это наискось: у нас в реестре такие вещи значатся как «отметка, поставленная без удостоверения личности». Печать, поставленная не глядя, — это подпись, которую никто не читал. Значит, и пропуск выписан не мне, а порядку.

На двери моего кабинета — «кабинет» в данном случае было слово щедрое: комната с окном в стену котельной, стол, два стула и шкаф, запертый, — висела табличка: «СЛЕДОВАТЕЛЬ. КАБИНЕТ 14».

Четырнадцать. Я остановилась перед табличкой на секунду дольше, чем положено человеку, который не ведёт реестр номеров. Линия четырнадцать. Прошлогодняя запись, которая в этой системе ровно год как переименована в «старую нитку». Система, я поняла, не только переименовывает трубки — она даёт номера кабинетам тем же почерком. Совпадение? В этом районе совпадений не было с семьдесят восьмого года.

Я вошла, положила сумку и составила первый рабочий план дня:

1. Осмотреть кабинет, шкаф, стол.
2. Установить, кто сидел здесь до меня.
3. Найти, чем тут отапливается вышеупомянутая «стабильность».

Со вторым пунктом помогла канцелярская эпопея: в ящике стола я нашла три папки с надписью «Входящая корреспонденция» — и во всех трёх лежали не входящие, а исходящие. Копии объяснительных, подписанных людьми, которых я знала: Слава, Стрельцова, Петрович, Гриша Коровин. Даты — от апреля по октябрь. И на каждой копии — сверху, вдоль левого края, тем самым ровным почерком, у которого точка над «ё» стояла чуть правее, — одна и та же резолюция:

«Принять к сведению. Мер не требует».

Двенадцать раз. Я посчитала — двенадцать листов, двенадцать резолюций. Двенадцать — число, которое у меня теперь имело вес измеримый: по числу коробок под печью. Система любит числа, и если она их ставит — она их отдаёт.

В это время в дверь постучали — два раза, деликатно, как стучат те, кто пришёл не по бумаге. В дверях стояла Марго с папкой и термосом.

— Настя, — сказала она без приветствия, потому что у нас с ней приветствия давно выполнялись терминами. — Я должна тебе сообщить профессионально важное. Здесь у меня кабинет на этаж выше. И здесь работает человек, который слышит то, о чём здесь не говорят.

— Стёпа?

— Нет, — сказала Марго и понизила голос до шёпота, которым у нас говорят о государственной тайне и о крыжовнике. — Здесь работает журнал. В регистратуре. Журнал учёта заявлений. И в этом журнале, Настя, есть голос. Я вчера слышала его лично, когда сдавала отчётность. Он говорит ровно, тихо, без запинки — как тот, кто привык говорить через трубу. И он обращается не ко мне. Он обращается к тебе.

Я смотрела на Марго без выражения — реестр, дочка, не допускает выражений, пока не зафиксирован факт.

— Тёть Маша, — сказала я.

— Тёть Маша, — согласилась Марго. — Она теперь не в боксе и не в колодце. Она в журнале. И она вчера сказала фразу, которую я записала дословно, — у меня, слава богу, привычка записывать дословно, иначе бы я за шестнадцать лет не выучила формулировку «диагноз не подтверждён наблюдением». Вот фраза: «Дочка, у нас тут внизу один читатель уже есть. Теперь и вы пришлите».

— «Внизу» — это куда?

— Подвал, — сказала Марго просто. — Куда ещё. Печь спит, бабушка Нина на страже, коробки в соли. А голос — наверху, в журнале. Дочка, канал у нас теперь не одна труба. Канал — это регистратура.

УЛИКА № 1/III

Предмет: Двенадцать копий объяснительных с резолюцией «Принять к сведению. Мер не требует», почерк — ровный, точка над «ё» чуть правее

Место обнаружения: Ящик стола, кабинет 14

Статус: Изъято в реестр

* * *

В регистратуру я спустилась в час дня. Журнал учёта заявлений лежал на стойке — толстая, серая, потёртая книга с номером. Я открыла её. На последней странице, внизу, ровным почерком, уже знакомым мне по двенадцати резолюциям, было написано:

«Дочка. Прочитай меня не глазами. Я тебе теперь отсюда говорю — а ты слушай. Печь внизу спит. Коробки в соли. А наверху, в этой книге, я теперь работаю. У меня тут стаж три месяца, и стаж этот, дочка, человеческий: я записываю тех, кто приходит жаловаться, и слышу то, чего они не говорят. У меня для тебя одна новость, и она не радостная: к тебе поедет бланк. Бланк, дочка, — это ручка, которую тебе вручат с улыбкой. Я видела таких, кто подпишет. Я двенадцать лет подписывала дым. Не подписывай бумагу. Не потому что бумага плохая — потому что подпись, дочка, это то, что остаётся после того, как бумага кончается».

Я закрыла журнал. Положила на стойку. Сказала вслух, никому, как учила бабушка:

— Слушаю.

И в тишине регистратуры, в которой стояла очередь из шести человек и из которой никто не уходил, я услышала — не голос, а ровную, тонкую тень голоса, как гул за два шага от липы:

— …сверено.

И не больше. Сверено. Одно слово. Слово, которое в нашей системе пишут в конце реестра вместо «конец» — когда реестр не закрыт, а подтверждён.

УЛИКА № 2/III

Предмет: Запись в журнале учёта заявлений, авторство — голос тёть Маши
Текст записи: «Дочка. Прочитай меня не глазами… Не подписывай бумагу…»
Способ фиксации: Переписано дословно, с моим подтверждением
Статус: Зарегистрировано как канал связи
* * *

Вечером, в горнице, за щами, я пересказала бабушке и Марго всё: пропуск, кабинет 14, двенадцать резолюций, запись в журнале.

Бабушка дослушала, помолчала и сказала то, что я потом три раза перечитала в своей тетради:

— Дочка. Слушай внимательно, потому что это, между нами, главное, что я тебе за две книги скажу. Система вызывает тебя не потому, что ты нашла. Она вызывает тебя потому, что она поняла: ты — та, кто не подпишет. И она делает то, что делает система, когда не может заставить: она меняет форму. Раньше она прячет. Теперь она приглашает. Раньше она сжигает. Теперь она вручаёт бланк и говорит: «Распишитесь». И если ты подпишешь — она получит то, чего ей не хватает уже сорок лет: подпись того, кто не подпишет. Понимаешь, дочка? Она не боится следователей. Она боится следователя, который окажется честным при всех. Это ей дороже любого акта.

— А если я не подпишу?

— Тогда, дочка, — сказала бабушка и сняла крышку, чтобы посолить, — начнётся самое интересное. Потому что система, когда её заставляют не подписывать, сначала смеётся. Потом грозит. А потом начинает считать. А считать, дочка, она уже не умеет: счёт, между нами, ведёт трава. У травы прейскурант, а у системы — только «производственная необходимость». И это, поверь мне на семьдесят девять лет, — неравные суммы.

РЕЕСТР ГЛАВЫ ПЕРВОЙ

Улика: телефонный вызов «на рабочее место» без основания; двенадцать копий объяснительных с резолюцией «Принять к сведению. Мер не требует»; запись голоса тёть Маши в журнале учёта заявлений; номер кабинета — четырнадцать.

Что это даёт: система перешла от сокрытия к приглашению. Улики больше не сжигают — их приносят в кабинет с ручкой. Двенадцать резолюций одним ровным почерком связывают кабинет 14 с коробками под печью и с листком семьдесят восьмого года: почерк один.

Важность: подписант не делает тайны из своей работы — он делает форму. «Мер не требует» — это не отказ от дела. Это отказ от чтения. И это, дочка, единственная запись, которую система делает сама о себе: она честно пишет, что не требует мер, — и не лжёт, потому что меры тут действительно никто не принимает двенадцать лет.

Проверка: сверить резолюции с почерком на выписках мартовской волны и на листке из коробки двенадцатой; сравнить с ровной подписью «по поручению» из сельсовета. Если почерк совпадает — у системы есть имя, и имя это двенадцать лет ходило по одному и тому же левому краю листа.

Вывод: меня пригласили не работать. Меня пригласили подписать. Система ошиблась в одном: она думает, что подпись — это то, что берут. Подпись, дочка, — это то, что отдают. И у меня есть реестр, в котором я обязана это отдающему сообщить.

Действие: завтра — в кабинет 14, но не за стол: за протокол. Заведу личное дело на саму систему, состав заявителей — очередь. И первый сеанс с журналом назначу на вторник — потому что всё серьёзное у нас происходит по вторникам.

Примечание: Смена — «до особого распоряжения». Особое распоряжение, дочка, тоже будет написано тем ровным почерком. И у меня уже готов ответ на него — в форме, которую система ещё не знает: «повестка: есть, вопросы: есть, меры: будут».

Реестр открыт. Статус — сверено.

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я завела личное дело на систему, а система ответила графиком приёма

Вторник я начала с протокола.

Не с осмотра, не со звонков, не с чая — с протокола. Это было единственное действие, которое нельзя было оспорить: следователь, поставленный «на рабочее место», обязан вести процессуальные документы по каждому обращению. Обращение у меня было. Обращением, я решила, будет сама система.

ПРОТОКОЛ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Номер: 1/III-2026

Заявитель: Очередь (состав устанавливается в ходе проверки)

Содержание обращения: ведение двойной отчётности в учреждении; фальсификация диспансеризации; наличие фиктивных пациентов; уничтожение первичной документации путём сжигания в печи подвального помещения; сокрытие фактов по указанию неустановленного лица с ровным почерком

Принял: следователь Волкова Н. В.

Приложение: список из жилетки, содержимое — по описи, без выноса

Список я в протокол не вшила. Список остался в жилетке — это был принципиальный пункт: бумага, которую я показала, уже улика; бумага, которую я вшила, — уже ссылка. Бабушка Нина двенадцать лет держала коробки под печью не потому, что боялась вынести. Она держала их там, потому что место хранения — это тоже показание. Улики, которые лежат в соли, говорят: «меня прятали». Улики, которые лежат в сейфе, говорят: «меня разрешили». Я пока выбирала первый вариант.

В кабинет в девять сорок вошла Стрельцова — с ведром, но ведро теперь было не рабочим, а процессуальным: в нём лежала папка.

— Дочка, — сказала она вместо приветствия, — я тебе вчерашнюю очередь притащила. Не всю — всю не унесу, ведро у нас казённое, а я казённое имущество в делах не фигурирую. Семь фамилий. Мартовская волна. По каждой я тебе сейчас скажу то, чего в выписке нет, а в ведре — было.

Она села на второй стул — тот, что стоял у стены, — и заговорила так, как отчитываются не перед начальником, а перед реестром:

— Первая фамилия. Нечаев, пятьдесят один год. В выписке — «обследование пройдено в полном объёме, патологии не выявлено». По факту, дочка, Нечаев в марте лежал в соседнем районе с гастритом, я его вела по телефону, и телефон этот в выписке не значится. Вторая — Панкова, шестьдесят три. «Диспансеризация пройдена, по результатам здоровая». Панкова с сентября прошлого года не выходит из двора: ноги. Её диспансеризировали, дочка, через окно. Акт составлен у меня на глазах — я видела, как женщина заполняла бланк, стоя на лестнице-стремянке у окна второго этажа. Это, я считаю, надо фиксировать: бланк писали не в кабинете, а на стремянке. У нас, дочка, вся диспансеризация на стремянках.

УЛИКА № 3/III

Предмет: Устные показания Стрельцовой по семи фамилиям мартовской волны

Форма: Пересказ с личным знанием фактов

Статус: К оформлению объяснениями по каждой фамилии

На третьей фамилии в дверь постучали. Стрельцова замолкла на полуслове и посмотрела на дверь так, как смотрят на звук, который не должен был прозвучать. Дверь открылась без приглашения — и это уже была не оплошность, а сообщение: человеку, которому не надо спрашивать, не надо и ждать.

Вошёл мужчина лет пятидесяти пяти, в пальто, которое висело на нём так, как вешают формулировки: ровно, по размеру, без единой складки. В руках — тонкая папка. Лицо я запомнила сразу, не потому что оно было примечательное, а потому что оно было ни при чём: ни доброе, ни злое, ни усталое. Лицо бланка.

— Добрый день, — сказал он. — Я Колесников. Виктор Аркадьевич. Заместитель главного врача по организационной работе. Вы у нас, я слышал, теперь на рабочем месте.

— Слышали правильно, — сказала я.

— Тогда, может, сразу к делу, — он сел, не спрашивая, где сесть: у людей, которым не надо спрашивать, с этим врождённо. — Вчера из области поступило разъяснение по вашему статусу. Вы не подчиняетесь главному врачу, вы не подчиняетесь мне — вы у нас в статусе «наблюдателя без процессуальных полномочий на территории объекта». Пока. Я вот что хотел сказать: статус у вас пока такой, и я бы советовал его не проверять на прочность, а оформить. Есть бланк. Простая бумага: вы подтверждаете, что на территории объекта ведёте наблюдение по поручению и с результатами знакомите… скажем так, установленным порядком. Распишетесь — и вам откроют и комнату «резерв», и архив, и всё, что вы хотели посмотреть. Без бланка — вы снаружи всех дверей. Я не угрожаю, капитан. Я документирую.

Он положил на стол лист. Лист был ровный. Не бумага — ровность: строгие поля, одна линия для подписи, внизу — гриф. И в верхней части, в графе «по поручению», — подпись. Ровная. Точка над «ё» чуть правее.

Я смотрела на лист, а не на него. Смотреть надо было на лист — по бабушкиной науке, документ читают, а не подписанта; подписант всегда выдаёт себя мимикой, а документ выдаёт себя честно, потому что не умеет иначе.

— Виктор Аркадьевич, — сказала я. — Вопрос по форме. Бланк «оформления наблюдателя» — это форма какого ведомства?

— Наша внутренняя форма, — сказал он спокойно. — Утверждена в порядке, который вас не касается. Подписывайте.

— У меня к вам встречная просьба, — сказала я и открыла реестр. — Я не подпишу ни одного документа, который не внесу в реестр. Это не вредность. Это профессиональная привычка: я подписываю только то, что переписала дословно. Внесите бланк в мой реестр — я перепишу все его графы — и тогда подпишу, если после перечитывания не найду там слов, за которые должно быть стыдно.

Колесников посмотрел на меня. Впервые за разговор у него в лице что-то изменилось — не эмоция, а расчёт: он пересчитал меня, как пересчитывают ведомость, в которой цифры не сходятся.

— Вы, — сказал он медленно, — первый наблюдатель в моей практике, который торгуется с бланком.

— Я не торгуюсь, Виктор Аркадьевич. Я переписываю. Это разные виды деятельности, и путать их не стоит: торгуются те, кто хочет лучшего. А я переписываю то, что есть.

— Тогда, — сказал он, вставая и забирая лист, — бланк побудет у меня. Думаю, до пятницы вы дозреете. Пятница, между нами, у нас день выдачи. И ещё, — он остановился в дверях, и голос его стал ровнее, чем был, — в регистратуре в понедельник меняли журнал. Старый утилизирован по акту. Акт есть, датирован, подписан. Так что ваш источник в журнале, капитан, утилизирован в понедельник. Не благодарите.

Дверь закрылась. Стрельцова сидела неподвижно, держала ведро на коленях, как держат на коленях кошку, которую не хотят тревожить.

— Дочка, — сказала она тихо. — Он врёт или не врёт про журнал?

— Он говорит правду, — сказала я и достала тетрадь. — И это хуже вранья. Вранье можно разоблачить, а правду — только перехитрить. Иди, Ольга Павловна, к тётье Маше. Скажи: журнал утилизирован — значит, канал теперь у неё в акте об утилизации. Пусть спросит у акта, куда он дели страницу. Акт подписывает тот же ровный почерк — а ровный почерк, как учит бабушка, не умеет врать, он умеет только исчезать.

Стрельцова встала, поставила ведро на пол — ведро оставила, «казённое имущество в делах пусть фигурирует, дочка, я передумала» — и ушла с той скоростью, с которой в нашем районе ходят только по очень срочным делам: не быстро, а неотвратимо.

* * *

В обед я позвонила бабушке. Разговор был короткий, потому что щи были на плите, а щи в нашей семье важнее любого протокола.

— Баб, мне привезли бланк. «Наблюдатель по поручению». Предложили подписать в обмен на доступ.

Бабушка помолчала. Я слышала, как она снимает крышку — жест, которым у нас в семье покупали время на обдумывание.

— Дочка. Запомни, что я тебе скажу, и запиши это на левую страницу реестра — на правую пишешь то, что случилось, а на левую — то, что я говорю, потому что мои мысли у тебя тоже улики. Они документированы у меня с восьмидесятого года. Слушай. Бланк с «доступом в обмен на подпись» — это, дочка, не бланк. Это цена. Система в первый раз за сорок лет назвала цену своих дверей. А как только есть цена — есть и прейскурант. А прейскурант, дочка, — это уже не система. Это лавка. И лавку можно закрывать по субботам.

— Баб, а если я не подпишу?

— Если не подпишешь, — сказала бабушка, и я услышала, как она солит щи, — они пойдут по второму кругу. Сначала они смеялись над вопросами. Потом приглашали. Потом будут считать. А вот считать, дочка, они не умеют — счёт у нас занят. У травы прейскурант, у липы архив, у козы — жевание в медленном исполнении. А у системы из всего прейскуранта осталась одна строка: «производственная необходимость». Это, дочка, не цена. Это отказ платить.

* * *

В четыре часа в кабинет пришёл Стёпа.

Он вошёл так, как входят курьеры, доставившие то, что нельзя было везти: без стука, но с оговоркой, — постучал один раз, коротко, как отбивают квитанцию. Свитер был наизнанку. В руках — конверт.

— Это мне в снах не приходило, — сказал он сразу, потому что мы с ним за две книги научились не тратить время на приветствия. — Это мне дед передал. Из почтового ящика. В ящике была квитанция, а в квитанции — вот это. Дед сказал: внучку снеси, она по квитанциям разбирается.

Я развернула лист. Это была не квитанция. Это был график.

ДОКУМЕНТ № 2/III

Наименование: График приёма. Дополнительная запись

Формат: Вклейка в график диспансеризации, форма 086-у

Содержание: строка, вписанная поверх основной записи: «повторный приём. Через 48 лет. Врач — прибыть к сроку»

Почерк: ровный, точка над «ё» чуть правее

Статус: К сверке с листком семьдесят восьмого года

— Стёпа, — сказала я. — Ты понимаешь, что это?

— Дед сказал: это то, что он ждал сорок лет, — ответил Стёпа честно. — А я не понимаю. Но я слышал это раньше. Через себя, по вторникам. Только я не знал, что это бумага. Я думал, это вода.

— Почему вода?

— Потому что всё, что ровно, — это вода, — сказал он с той взрослой простотой, с которой дети формулируют то, что взрослые прячут в термины. — Труба — вода. Уклон — вода. А эта строка ровная, как уклон. Значит, она тоже к дну идёт. Просто медленно.

Стёпа ушёл — так же как вошёл, с одной короткой отмашкой в квитанцию. А я сидела и смотрела на график, и в голове у меня работала не следственная мысль — следственная мысль у меня работает медленно, я это знаю и не спорю, — а мысль бабушки Нины. Она когда-то сказала про печь: «сорок лет тут лежало то, что ты собирала». Вот теперь и график собрался. Сорок восемь лет назад кто-то выехал с графиком. Сорок восемь лет кто-то ехал. И теперь в графике стоит строка: «врач — прибыть к сроку».

Сорок восемь лет — это срок, который не назначают. Сорок восемь лет — это срок, который служат.

УЛИКА № 4/III

Предмет: Вклейка в график диспансеризации: «повторный приём. Через 48 лет»
Способ доставки: почтовый ящик — дед Стёпы — Стёпа
Признак: вклейка сделана тем же ровным почерком, что резолюции и бланк Колесникова
Статус: Зарегистрировано. К выезду на место
* * *

РЕЕСТР ГЛАВЫ ВТОРОЙ

Улика: показания Стрельцовой по семи фамилиям мартовской волны; бланк «наблюдателя по поручению» с ровной подписью — зафиксирован описанием, лист забран Колесниковым; сообщение Колесникова об утилизации журнала; вклейка в график — «повторный приём. Через 48 лет».

Что это даёт: система в этой главе впервые назвала цену. Подпись в обмен на доступ — это не обещание, это тариф. А тариф — это уже предмет, который можно сравнивать, оспаривать и, главное, заносить в прейскурант. У травы прейскурант старше, и он честнее: трава берёт гонорар обедами и не обещает того, чего не может.

Важность: журнал «утилизирован по акту» — это не гибель канала. Это его переезд: акт об утилизации подписан тем же ровным почерком, что и всё остальное, а значит, в акте есть то, чего в системе не бывает ни разу за сорок лет, — её собственный почерк на бумаге, которую можно потребовать. Требование акта об утилизации — это, дочка, требование, которое нельзя отклонить формулировкой «не ко мне»: акт, в котором сжигают журнал, — это акт, в котором сжигают книгу показаний. Такое не подписывают молча.

Проверка: во-первых, потребовать акт об утилизации — по форме, письменно, с регистрацией в реестре; во-вторых, сверить почерк вклейки в графике с почерком резолюций и бланка — если совпадает, у графика и у кабинета 14 один автор; в-третьих, по семи фамилиям — оформить объяснения, каждый со своей датой и своим окном.

Вывод: Колесников принёс бланк не потому, что уверен в подписи. Он принёс его потому, что бланк — это проверка. Система, дочка, не покупает подпись сразу — она сначала смотрит, торгуется ли покупатель. А я не торгуюсь. Я переписываю. И это, между нами, самый неприятный ответ для тех, кто продаёт: с непокупающим не договоришься, а истребовать нельзя — нет основания.

Действие: пятница названа. Значит, до пятницы — три рабочих дня. В первый: акт об утилизации. Во второй: объяснения по фамилиям. В третий — на Сосновскую, к липе: потому что вклейка «через 48 лет» — это, дочка, срок, а сроки в нашем районе истекают не по календарю, а по вторникам.

Реестр открыт. Статус — сверено.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой я потребовала акт об утилизации, а утилизированный журнал оказался разговорчивее утилизированного

Среда была день акта. Актов у системы много, но акт об утилизации — это, между нами, особый жанр: документ, в котором система официально сообщает, что уничтожила собственную память. Обычно такое сжигают первыми. Значит, если акт ещё существует — его бережно хранят, как хранят рецепт, который не хотят исполнять.

Я написала запрос. По форме — безупречной, потому что форма — это единственная броня, которую система не поднимает на смех. Я написала: «Прошу предоставить для ознакомления акт об утилизации журнала учёта заявлений регистратуры, датированный текущей неделей, с указанием способа уничтожения, места проведения процедуры и лиц, присутствовавших при таковой». Три требования — способ, место, лица. Это, дочка, не три пункта. Это три двери, и за каждой кто-то стоит.

Запрос я зарегистрировала в реестре и пошла к секретарю — молодой женщине, которая писала на клавиатуре так, как пишут те, кто боится ошибиться в чужом присутствии.

— Куда подать?

— Куда положите, туда и подадите, — сказала она не поднимая головы. — У нас всё, что кладут на этот стол, считается «переданным в работу». А что делается с работой — это не ко мне.

— А к кому?

— К бумаге, — сказала она и впервые подняла глаза. — Всё, что у нас решается, решается бумагой. Люди у нас только переносят бумагу из кабинета в кабинет. Как носильщики. Если хотите знать, кто решает — не смотрите на носильщика. Смотрите, куда бумагу несут.

— А её несут наверх?

— Её несут вниз, — сказала секретарь и снова опустила глаза. — Наверх её несут только когда не знают, что в ней. А когда знают — несут вниз. Вниз у нас хранится всё важное.

Я зарегистрировала и это. Показания секретаря — не протокол, но реестр у меня теперь принимает и такие: «источник — лицо, не поднимающее глаз, а поднимающее только в конце реплики, что означает: человек знает больше, чем говорит, и говорит больше, чем должен».

УЛИКА № 5/III

Предмет: Запрос на акт об утилизации — подан, зарегистрирован

Побочные показания: Секретарь: «важное внизу»; бумагу, содержание которой известно, «несят вниз»

Статус: Ожидание ответа. Срок по форме — три дня

* * *

Ответ пришёл быстрее — в тот же день, к пяти. Это тоже знак: когда на запрос отвечают в срок, а не с просрочкой, значит, ответ готовили заранее, до запроса. Система, дочка, отвечает быстро только на те вопросы, которые сама себе задала.

Акт был. Одна страница, форма установленная, гриф, дата, подпись. «Журнал учёта заявлений регистратуры, пришедший в негодность по истечении срока хранения, утилизирован путём сжигания в печи подвального помещения. Присутствовали: завхоз (в отпуске по семейным обстоятельствам, согласие дано заочно), техник по отоплению (Петрович), представитель администрации (не указан). Способ уничтожения: сжигание. Место: печь подвального помещения».

Я перечитала три раза. Всё было в акте, что положено: что, когда, чем. Единственное, чего в акте не было, — это того, что там сжигали. Акт, дочка, это документ о том, что уничтожили, — и в нём никогда не пишут, что уничтожили. В нём пишут «объект», «единица хранения», «пришедшее в негодность». Система уничтожает безлично: у неё даже сожжённое не имеет имени.

Но подпись была. Ровная. Точка над «ё» — чуть правее.

И вот тут я совершила поступок, за который бабушка потом не ругала меня первый раз за всю серию: я сфотографировала акт. Не копию — оригинал, на месте, с грифом и печатью. Система запрещает фотографирование — на входе висит табличка, и табличка тоже ровная. Но запрет на съёмку — это запрет для тех, кто пришёл смотреть. А я пришла переписывать. Я переписала акт дословно, в реестр, с фиксацией даты и подписи — и это, по моим внутренним регламентам, дешевле и вернее любой фотографии: бумага сгорит, а реестр — нет. Реестр, дочка, ведёт та, кто его не сжигает.

ДОКУМЕНТ № 3/III

Наименование: Акт об утилизации журнала учёта заявлений
Способ: Сжигание
Место: Печь подвального помещения
Присутствовали: завхоз (заочно), Петрович, представитель администрации (графа пуста)
Подпись: ровная, точка над «ё» чуть правее
Статус: Изъято в реестр дословно
* * *

Пятница была день объяснений. Я не пошла к семи фамилиям — я позвала их к себе. Очередь, дочка, сама приходит туда, где её слушают: в четверг вечером Стрельцова обошла дворы и сказала каждому по-своему, и в пятницу к девяти в кабинет 14 стояла линия из семи человек, и линия эта была организована лучше, чем любая запись через электронную очередь, потому что каждый знал свою очередь по старшинству мартовской волны.

Первым был Нечаев. Пятьдесят один год, гастрит, соседний район.

— Здоровый, — сказал он с порога, вместо здравствуйте. — По бумаге я здоровый. По желобу — гастритный. А что мне делать, гражданка следовательная? Идти некуда: если я скажу, что болен, мне эту бумагу заменят на другую, а другую мне писать некому, — я же по этой бумаге свободным числюсь. Здоровый человек, дочка следовательная, — это человек, у которого графа заполнена. А больной — это человек, у которого графа пустая. У нас больных нет. У нас неучтённые.

Я записала дословно. Это было показание, которое система подписала бы сама, если бы умела честно говорить: «у нас больных нет. У нас неучтённые».

Второй — Панкова. Её сын привёл, держал под руку, потому что ноги были те самые, из-за которых диспансеризация проходила через окно.

— Мне бланк писала женщина на стремянке, — сказала Панкова тихо, но внятно. — Я в окне, она на лестнице. Спрашивает: «Дышите?» — «Дышу». — «Значит, здорова». И записала. Дочка, я не обиделась. Я тогда подумала: у бедной женщины работа такая — писать через окно. У неё в кабинете, небось, очередь сидит. А потом подумала: а очередь-то в кабинете — бумажная. Одна я, дочка, живая была, и та — в окне.

Третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая — по разным дворам, по разным окнам, по разным стремянкам. Один мужчина был «увезён» — куда, не знает. Одна женщина «переведена на содержание» — содержание какое, не объяснили. Гриша Коровин — восьмая строка, но не фамилия из семи: Коровин значился отдельно, «возвращён в рейс».

В конце я спросила у Стрельцовой:

— Ольга Павловна. А что значит «переведён на содержание»?

— А это, дочка, — сказала она и положила ведро на колени, — вопрос, на который я отвечаю так: содержание — это когда за человека платят не деньгами, а документами. Его держат на бумаге. Человек живой, а живёт в ведомости. И я вот что скажу тебе: я сорок лет в этой системе, и я научилась отличать живых от бумажных. Бумажные у нас не дышат, но их записывают живыми. А живые дышат, но их записывают здоровыми. И это, дочка, — одна и та же запись, сделанная с разных сторон: с той, где человек жив, и с той, где человек нужен.

УЛИКА № 6/III

Предмет: Объяснения семи лиц мартовской волны
Форма: Устные показания, зафиксированные дословно
Ключевая формулировка: «У нас больных нет. У нас неучтённые»
Статус: Зарегистрировано. К приобщению
* * *

В субботу я поехала в Сосново. Не за щами — за графиком. Вклейка «через 48 лет» требовала предъявления, и предъявлять её надо было тому, у кого память сорок лет, — то есть профессору.

Липа стояла в субботе по-обычному: молчала ровно, как отстоявшаяся вода. Я не торопила. Я стояла четырнадцать минут — я уже знала, что в четырнадцатую минуту у профессора открывается передняя. В пятнадцатую прошла борозда:

— …повторный приём. Срок исполнения — сорок восемь лет. Врач обязан явиться к назначенному. Неявка врача по графику приравнивается к неявке пациента. Обе неявки засчитываются как системная ошибка. Системная ошибка подлежит исправлению в порядке, установленном…

Борозда выровнялась. Лекция закрылась. Но того, что я услышала, мне хватило на три недели размышлений: срок «сорок восемь лет» — это не прихоть ровного почерка. Это график. У графика есть своя логика, и логика эта, дочка, страшнее любой злобы: система назначила врачу явиться через сорок восемь лет не потому, что ждала, — а потому что неявка по графику «засчитывается». Система не умеет ждать. Она умеет считать. И она считает эти сорок восемь лет как долг.

Кто-то сорок восемь лет служил срок, назначенный бумагой. И срок этот истекает — не по календарю, а по вторникам.

Вечером — Марго. Она приехала в Сосново с рецептом и коньяком, потому что у неё теперь в Сосново кабинет на этаж выше и она ездит «по производственной необходимости», формулировка, под которой у неё была совесть и две книги.

— Настя, — сказала она за стопкой. — Я хочу тебе сказать одну вещь, и она профессиональная. Я перечитала твои реестры за две недели. И вот что я вижу: у тебя в реестре система фигурирует как персонаж. Ты вписываешь её реакции, её задержки, её формулировки. Так вот, как врач тебе говорю: система, дочка, — это не персонаж. Это пациент. Пациент с тяжёлым, многолетним, устойчивым расстройством, и расстройство это называется «синдром заменённого содержания». Он заполняет форму — и содержание его не интересует. Он пишет «здоров» — и человек при этом не важен. Он сжигает журнал — и память его не важна. У него, Настя, нет содержания. У него есть только форма. И это не метафора. Это диагноз.

— А чем лечат такой синдром?

— А лечат его, — сказала Марго и налила вторую, — тем, чем лечат любого пациента с отсутствием содержания: вниманием. Настоящим, разом, целиком, как липа берёт. Потому что форма, которая не готова к вниманию, — разваливается. Я это видела на пациентах, а ты, дочка следовательная, увидишь на системе. Только учти: разваливаясь, она станет тебе мстить не документами. Документами она мстить не умеет — у неё в документах всё гладко. Она тебе отомстит тем, что перестанет тебя замечать. А это страшнее любой повестки.

РЕЕСТР ГЛАВЫ ТРЕТЬЕЙ

Улика: акт об утилизации журнала с ровной подписью; показания семи лиц мартовской волны, дословные; лекция липы о сроке сорок восемь лет и системной ошибке.

Что это даёт: система уничтожила журнал — и подписала уничтожение той же рукой, которой приглашала подписать бланк. Акт, дочка, — это первая в этой книге улика, в которой система сделала то, чего она боялась сорок лет: оставила свой почерк на бумаге о собственном преступлении. Не потому что ошиблась. Потому что была уверена, что бумагу никто не прочтёт. А это и есть главный симптом синдрома заменённого содержания: у системы исчезла не совесть — исчезло ожидание читателя.

Важность: «у нас больных нет — у нас неучтённые» — это формула, которую можно ставить эпиграфом ко всей серии. Система не отрицает людей. Она их просто не вписывает. А невписанный человек в системе не существует — и это не жестокость. Это бухгалтерия.

Проверка: во-первых, завхоз «в отпуске» — узнать, где в действительности, и установить, кто давал «согласие заочно»; заочное согласие на уничтожение первички — это, дочка, статья, а не формулировка. Во-вторых, по представителю администрации: графа пуста, но подпись есть; пустая графа при существующей подписи означает, что представитель был, но его не решились назвать. В-третьих, к Петровичу: он присутствовал при сжигании и теперь не помнит, по чьему графику пилил. Человек, который присутствовал дважды, — уже не исполнитель. Это свидетель, у которого сорок лет спрашивают «вспомни» — и он вспоминает по вторникам.

Вывод: врач по графику обязан явиться. Система сама назначила себе срок и сама его не отменяет: неявка «засчитывается как системная ошибка», а системная ошибка, дочка, «подлежит исправлению». Значит, у нас есть то, чего у следствия никогда не бывает: дата, которую установил не следователь, а сам обвиняемый. И дата эта — в графике, вклеенная ровным почерком, поверх всей мартовской волны.

Действие: найти врача. Не того, кто был, — того, кто «прибудет к сроку». По моим прикидкам, тот, кто в семьдесят восьмом уехал с графиком, и тот, кто должен прибыть в сорок восьмом году повторного приёма, — одно лицо, и возраст его сейчас около восьмидесяти. Система назначила явление человеку, который теперь, дочка, сам в очереди: очередь не различает должностей — она различает только строку. И его строка наступает во вторник.

Реестр открыт. Статус — сверено.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой багажник открылся сам, а завхоз вернулась из отпуска, которого не было

Понедельник был день Кеши. Коровина, дочка, надо было находить по багажнику: Стрельцова права была две книги назад — в этом районе показания слышат раньше, чем видят, а Кеша с его «багажник открывается при каждом пассажире» — это единственный детектор чужой перевозки, который у нас остался.

Кеша жил у котельной, а крыжовник — при нём: тот самый куст у котельной, который после событий прошлой осени значился у нас главным сторожем посёлка. У сторожа не было выходных, но было обострение по вторникам.

— Дочка следовательная, — сказал Кеша вместо приветствия, потому что Кеша после увольнения уже не здоровался, а переходил сразу к делу, экономя, как он выражался, формальности для той жизни, где формальности платят. — Ты про Гришу?

— Про Гришу.

— Тогда слушай. Вторник, восемь ходок, рейс «возвращён». Это я поначалу тоже так понял — по бумажке. А теперь у меня данные точнее. Багажник, дочка следовательная, не врёт. Багажник — это голос совести: открывается при каждом пассажире, и всё, что возят, видит. Так вот, двадцать третьего числа, во вторник, у меня багажник открылся сам. Я стоял у гаражей, никого не возил, чай пил. А багажник открылся — и не закрылся. Сорок минут, дочка следовательная. Сорок минут открытый багажник у машины, которая не едет, — это не неисправность. Это сообщение.

— Кому?

— Тому, кто умеет читать багажник. Тебе, стало быть. Багажник открылся — я глянул. Там, где раньше папки возили, лежала кепка. Не моя — Петровича. Я её ему сдал обратно в прошлую субботу, со словами: «Голову хоть прикрой, непокрытый». А он мне говорит: «Кепка, дочка, теперь казённая: я в ней сорок лет пилил по чужому графику — пусть казна и держит». И вот она в багажнике лежала. А рядом с кепкой — квитанция. Транспортная. По форме. Я читаю, дочка следовательная: «Груз: один (1) человек. Пункт отправления: рейс, вторник. Пункт назначения: обратно в рейс. Вес: не определён. Статус: возвращён».

— Кеша, это шутка.

— Я шучу про тлю, дочка следовательная. А про квитанцию я не шучу, потому что квитанция — это не шутка, это жанр. Ты знаешь, кто выписывает квитанции на человека? Никто не выписывает. Их печатают заранее. Как гроб делают заранее — не потому что знают, а потому что привыкли, что рано или поздно понадобится. А теперь главное. Внизу квитанции — приписка. Рукой. Ровной рукой, ты меня знаешь, я почерки различаю по тому, как они открывают багажник: неровный почерк багажник трясёт, а ровный — нет. Так вот приписка: «Вес не определён, потому что человека в рейсе нет. Есть строка в ведомости. Человек был снят с рейса в прошлый вторник. Строка осталась. Возите строку».

Я записала дословно. Руки у меня дрожали, и это я в реестр тоже внесла: «рука дрожит — значит, показание дошло».

УЛИКА № 7/III

Предмет: Транспортная квитанция «Груз: один (1) человек. Пункт назначения: обратно в рейс» с припиской ровного почерка: «Человек был снят с рейса в прошлый вторник. Строка осталась»

Способ доставки: багажник Кеши, открывшийся без пассажира, сорок минут

Формулировка-ключ: «Возите строку»

Статус: Зарегистрировано дословно

Смысл квитанции дошёл до меня не сразу — у меня, дочка, следственная мысль работает с задержкой, но зато без брака. В ведомости Коровина оставался. В рейсе Коровина не было. Система не потеряла человека — она его переименовала в строку и отправила строку обратно в рейс. Человек был снят с рейса в прошлый вторник — а «возвращён в рейс» писали в ведомости, потому что ведомость, дочка, не обновляется фактом: ведомость обновляется формулировкой.

— Кеша, а где Коровин сейчас?

— А вот это, — сказал Кеша и дёрнул себя за макушку, где должна была быть кепка Петровича, — это ты у Стрельцовой спроси. Она с ведром ходит — ведро, дочка следовательная, теперь не пустое. Она в него всё складывает, что по стакану собирает. Сорок стаканов — сорок строк. У неё теперь ведро полнее архива.

* * *

Стрельцову я застала в коридоре второго этажа — она стояла у окна и смотрела вниз, на асфальт перед проходной.

— Дочка, — сказала она, не оборачиваясь. — Я тебя по шагам узнала. У тебя шаг следователя: сначала правая, потом пауза, потом правая. Ты, когда идёшь по коридору, всё время проверяешь, не сломалась ли правая. Это не походка. Это профессия.

— Ольга Павловна. Коровин.

— Коровин, — повторила она и повернулась. Лицо у неё было то, которое у нас в реестре значится как «лицо человека, который ждал вопроса сорок лет и теперь не знает, начинать с середины или с конца». — Коровин, дочка, в больнице. В четвёртой палате, вторая койка от окна. Только его там нет по имени. Он у нас записан как «неустановленный пациент, поступил по доставке, сознание ясное, фамилию не называет». Фамилию, дочка, он не называет, потому что фамилию у него забрали вместе с рейсом. Я ему говорю: Гриша. А он мне отвечает: «Нет, женщина, меня зовут строка. Так в ведомости написано. Я строку помню, а фамилию забыла — фамилию, дочка, надо заполнять, а строка сама стоит».

УЛИКА № 8/III

Предмет: Пациент четвёртой палаты, вторая койка, значится как «неустановленный», по совокупности признаков — Коровин Г.

Показание пациента: «Меня зовут строка. Я строку помню, а фамилию забыла»

Статус: Требуется опознание по документам мартовской волны

* * *

Завхоза я нашла в тот же день — но не там, где искала. «В отпуске по семейным обстоятельствам» она не была ни секунды: она была в подвале, у печи, вместе с бабушкой Ниной. Это, дочка, надо было видеть: две женщины у печи, и печь между ними дышала, как третий участник переговоров, у которого совесть — его профессия.

Завхоз звали Тамара Сергеевна. Сорок один год в этой больнице — сначала санитаркой, потом завхозом, а с инвентарной книгой она ужилась двадцать восемь лет назад и с тех пор не расставалась.

— Я не в отпуске, — сказала она с порога, без допроса, как сдают те, кто сдаваться давно готов. — Меня в отпуск отправили заочно, потому что я не подписала акт. Я акт не подписала — и они его подписали за меня. Пойми, дочка, у нас так: если ты не подписал, это не значит, что ты против. Это значит, что подпись поставят, а тебя запишут в отпуск. Отпуск — это, между нами, способ отделить несогласного от рабочего места, пока его подпись работает без него.

— Вы знали, что сжигают?

— Я знала больше, — сказала Тамара Сергеевна и присела на табурет, который бабушка Нина пододвинула ей молча, как пододвигают стул тому, кого давно ждали. — Я двадцать восемь лет завхоз, и у меня в инвентарной книге всё есть. Каждое ведро, каждая метла, каждый рулон. И я тебе скажу, чего в моей книге нет. В моей книге нет того, что за двенадцать лет через мой подвал прошло ровно двенадцать раз. Я считала, дочка. Я не подписывала — но я считала. Раз в год, в ноябре, ночью, приносили коробку. Одна коробка — один акт сжигания. Акт подписывали, а коробку — нет: в печь сверху шла стопка старых журналов, на которых дым и держался, а сама коробка тем временем уходила вниз, в соль. Так её и спасли, дочка, — подменой. Система хотела сжечь бумагу, а сожгла макулатуру. У системы глаз намётан на форму: раз горит и пахнет — значит, исполнено. Исполнено, дочка. Исполнено-то исполнено, только не то, что в акте.

— А вы почему не сдали?

— А кому сдавать, дочка следовательная? — спросила Тамара Сергеевна и впервые посмотрела мне в глаза. — Ты в область сходишь — там «отсутствие состава». Ты в прокуратуру — там «по поручению». Ты в милицию — там следователь, который в осеннем заявлении честно выписал «отсутствие состава» и ушёл, и это, я тебе скажу, единственный чиновник за сорок лет, который своё «отсутствие состава» хотя бы не нарисовав, а реально не нашёл. Некому было сдавать. Вот я и хранила. У меня, как у Нины, система была: она хранила бумагу, я хранила счёт. Две бухгалтерии, дочка. Одна казённая, вторая — женская.

Бабушка Нина в это время молча сняла с печи крышку — не щей, чайника — и налила завхозу стакан. Это, я поняла, был у них жест, которым оформляют допуск: стакан из-под печи — это пропуск в реестр.

— Тамара, — сказала бабушка Нина, — а теперь про сапоги. Дочка тут вторую неделю в кабинет четырнадцать сидит, а про сапоги не знает. А сапоги — это начало всех графиков.

И Тамара Сергеевна рассказала.

Сапоги были сорок шестого размера. Они появились в инвентарной книге двадцать восемь лет назад — «обувь специальная, две пары, для работ по содержанию». Две пары, дочка, — а людей в спецобуви в посёлке было трое. Третий — тот, кто в сапогах не числился, но в

сапогах ходил: к колодцу, к трубе, к печи — в те ночи, когда приносили коробки. След, который я видела у пекарни в первый год, дочка, — это был не след вора. Это был след человека, у которого сапоги казённые, а не казённого размера, — потому что казённый размер выдаёт только тому, кто мерил. А он не мерил. Он вписал себе сапоги в ведомость, как вписал себе всё остальное: без примерки.

— А Коровин говорит — сапоги были новые, — сказала я.

— А они и были новые, — сказала Тамара Сергеевна спокойно. — Только запись-то одна, дочка, двадцативосьмилетняя. Сапоги у системы не стареют: их списывают по акту, выписывают заново — а строка в инвентаре остаётся та же. Книга у меня, дочка, старая, а обувь в ней — вечная. Система заменяет всё, кроме записи о себе. Это её самая надёжная улика: она сама не умеет себя переименовать.

УЛИКА № 9/III

Предмет: Показания завхоза Тамары Сергеевны: инвентарный учёт расхода краски (шесть вёдер по акту, четыре в остатке — «на сапоги»); двенадцать лет «ночных коробок» с подменой при сжигании; сапоги сорок шестого размера как казённая обувь, вписанная без примерки и обновляемая без изменения записи

Статус: Зарегистрировано. Завхоз переводится из «в отпуске» в «свидетель»

* * *

Вечером я позвонила бабушке — не за щами, за консультацией. Щи были перекипевшие, что означало: «долго», и я это учла.

— Баб, сапоги сорок шестого. Коровин — строка. Завхоз — свидетель. И у меня вопрос, на который у меня нет ответа: если система снимает человека с рейса и оставляет строку — значит, она умеет делать человека из бумаги. А умеет ли она из бумаги делать обратно человека?

— Умеет, дочка, — сказала бабушка так спокойно, что я сразу поняла: она этот ответ знала до звонка. — Умеет, но не хочет. Обратная операция, дочка, дороже. Чтобы строку обратно в человека — надо, чтобы хоть кто-то сказал вслух: «это Коровин». И сказал не по ведомости, а по памяти. Память — это единственная база данных, которую система не может ни сжечь, ни переименовать. Она может стереть человека из бумаги. Из памяти — только если стерёт всех, кто помнит. А всех не стерёшь — у нас очередь. Очередь не сжигается. Очередь стоит.

— Баб, а что делать с Коровиным?

— С Коровиным, дочка, надо делать то, что делает с любым человеком, которого превратили в строку: назвать по имени. Прийти в палату, взять за руку и сказать: «Гриша». Это не следственное действие. Это человеческое. А следственное потом: опознание оформим, свидетелей — Стрельцову, Кешу, завхоза. Но сначала, дочка, надо, чтобы он себя вспомнил. Человек, который забыл фамилию, — это не потерянный человек. Это человек, у которого фамилию отняли, а имя оставили. Имя, дочка, система не забирает никогда. Ей некуда его девать: имя в реестре не значится.

РЕЕСТР ГЛАВЫ ЧЕТВЁРТОЙ

Улика: квитанция «Груз: один (1) человек» с припиской «Возите строку»; показания Коровина-«строки»; показания завхоза Тамары Сергеевны — две бухгалтерии, двадцать восемь лет инвентарного счёта; сапоги сорок шестого размера как казённая обувь, вписанная без примерки.

Что это даёт: система не убивала Коровина — она его переименовала. «Возвращён в рейс» — это не о человеке, это о строке: строку вернули, а человека сняли. А это не убийство и не похищение — это бухгалтерская операция, и в этом её страшная чистота: всё в рамках, всё по форме, человека нет, а строка ходит в рейсы.

Важность: сапоги сорок шестого — это первый материальный след ровного почерка. Почерк до сих пор был только на бумаге, а теперь он на земле: тот, кто писал «по поручению», ходил в казённой обуви, которая ему не по размеру, — потому что не мерил. Человек, который не примеривает, не меряет и последствия. Это не метафора: у системы не было ни одной вещи своего размера — ни сапог, ни графика, ни сорока восьми лет.

Проверка: во-первых, инвентарная книга Тамары Сергеевны — изъять в реестр, двадцать восемь лет расходных записей; во-вторых, найти, чьи сапоги числятся и чьи реально носят — по следу, по складу, по хранению; в-третьих, Коровина опознать по мартовской ведомости: если подпись на его выписке совпадает с ровной — он уже не «неустановленный», он доказанный.

Вывод: обратной операции — из строки в человека — у системы нет не потому, что она не умеет, а потому, что это дорого: она требует памяти. Значит, память — это, дочка, оружие, и оно у нас уже есть: очередь, ведро, инвентарная книга, бабушка Нина, завхоз с её счётом. Система двенадцать лет сжигала бумагу, думая, что сжигает память. А память — не бумага. Память — это те, кто помнит. И их, дочка, больше, чем печь.

Действие: завтра — в четвёртую палату, к Коровину, называть по имени. А во вторник — по графику: если врач обязан прибыть к сроку, то срок этот, дочка, наступает не в бумаге. Он наступает в палате. И на этот раз встречать его буду не я одна — меня ждёт очередь, а очередь, как завещала Стрельцова, не надо вести. Её надо только разбудить.

Реестр открыт. Статус — сверено.

ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой я назвала человека по имени, а имя вернулось с процентами

В четвёртую палату я вошла во вторник — не потому, что так было удобнее, а потому, что всё настоящее у нас по вторникам. В палате было прохладно и пахло так, как пахнет во всех палатах мира: хлоркой и ожиданием. На второй койке от окна сидел мужчина. Сорок с лишним лет, крепкий, руки грузчика — но сидел он грузчиком, который разучился поднимать: руки лежали на коленях, как вещи, от которых отказались.

— Гриша, — сказала я.

Это, дочка, надо понимать правильно: я не поздоровалась. Я произнесла имя — как произносят ключ, который не подходит к замку, но подходит к замку, пока не проверишь. Он не обернулся. Он посмотрел на дверь — я вошла раньше, чем он согласился меня впустить, а это для человека, которого возили как груз, немаловажная деталь.

— Нет, — сказал он вежливо. — Я строка.

— А я, — сказала я и села на стул рядом, не спросив, — а я тогда к строке. У меня к строке вопрос. В ведомости вы, строка, значитесь как «возвращён в рейс, вторник, восемь ходок». У меня к вам один вопрос: а рейс куда?

Он поднял на меня глаза. Первый раз за весь разговор.

— Куда рейс?.. — повторил он и удивился, как удивляются люди, у которых спросили то, о чём они сами всю жизнь спрашивали и не решались: казалось глупым. — Рейс по графику. Вторник. Восемь ходок. Так в ведомости. Ведомость, женщина, не спрашивает куда. Ведомость пишет «в рейсе» — и рейс есть.

— А человек?

— Человек, — сказал он и посмотрел на свои руки. — Человек, наверное, остался там, где его сняли. Я не помню, где меня снимают с рейса. Я помню только, что было восемь ходок и что восемь ходок — это, если считать по-человечески, день. А по ведомости — вечно.

УЛИКА № 10/III

Предмет: Показания Коровина Г., фиксирующего свою идентичность как строку ведомости

Ключевая формулировка: «Восемь ходок по-человечески — это день. А по ведомости — вечно»

Статус: Зарегистрировано дословно

Я не торопила. С Коровиным, я уже понимала, торопиться было нельзя — не из жалости, а из тактики: человек, которого переименовали, вспоминает имя не через вопрос, а через детали, к имени привязанные. Имена — это, дочка, не слово. Имена — это крючки, на которых висит всё остальное: двор, собака, запах из кухни, кто первым встаёт зимой и топит.

— Гриша, — сказала я снова. — Вы вторник восемь ходок возили. Тяжёлое возили или лёгкое?

— Тяжёлое, — сказал он сразу, и голос у него впервые за время разговора стал не строкой, а голосом. — Тяжёлое — это моё. Я тяжёлое люблю. Я же грузчик. Двадцать лет грузчиком, дочка. Я лёгкое не люблю: лёгкое — это когда не чувствуешь, что несёшь. А я всю жизнь чувствовал, что несу. Это, я вам скажу, честная работа: вес есть вес, его не перепишешь. У меня в роду все грузчики. Дед возил мешки с элеватора, отец — доски с пилорамы, а я — всё подряд. У нас в роду не спрашивали «что несёшь». У нас спрашивали «донесёшь ли».

— А в тот вторник?

— В тот вторник, — сказал он, и голос снова начал сходить на строку, — я понёс лёгкое. Впервые. Мне дали папку. Я думал — документы. Документы, дочка, тяжёлые, я папки таскал всю жизнь, я знаю их вес. А эта папка была лёгкая. Как пустая. Я понёс её на склад, отдал приёмщице — а приёмщица мне говорит: рейс не окончен, выезд. И это были последние человеческие слова, которые я в тот вторник слышал. Дальше — ведомость.

— Кому отдали папку?

— Приёмщице. На складе у нас приёмщица одна — Мария. — И тут он сам замер. Посмотрел на свои руки. — Мария… Мария Тимофеевна? — сказал он неуверенно, как пробуют в темноте, не наскочил ли на стол. — Я не помню, чтобы у нас была Мария Тимофеевна. Я помню, что была приёмщица. Но имя всплыло само. Я его не называл, дочка, — оно само вынырнуло, как ведро из колодца: рука сама, я не тянул.

Я записала. «Приёмщица — Мария». Тёть Маша. Восьмая строка мартовской волны Коровина приходила на склад — и там его не встречала и не отправляла человек: там его встречала тёть Маша, и это, дочка, я теперь обязана была узнать у неё в журнале, — потому что если тёть Маша принимала Коровина, то она принимала не груз. Она принимала человека. И то, что она потом сделала с ним — или не сделала, — это уже вопрос не к ведомости. Это вопрос к совести. А совесть у тёть Маши теперь одна на журнал: она там сидит и читает всех, кто приходит жаловаться.

УЛИКА № 11/III

Предмет: Показания Коровина: папку принял склад, приёмщица — Мария (по совокупности признаков — Мария Тимофеевна, тёть Маша)

Статус: К проверке по журналу учёта заявлений

* * *

В обед я сходила в регистратуру. Журнал лежал на стойке — новый, тот самый, «утилизированный по акту» старый в нём не значился, и это, дочка, надо было видеть: утилизированный журнал вернулся. Не как вещь — как голос. На последней странице, внизу, было написано ровным почерком, но не тем, что у системы, — старческим, с нажимом:

«Дочка. К твоему Коровину. Я его помню. Он ко мне приходил во вторник с папкой — лёгкой, как пустая. Я её открыла, а там — одна строка. Я ему говорю: Гриша, тут пусто. А он мне: Мария, там написано, что не пусто. Так и живём, дочка: у него папка с надписью „не пусто“, а внутри пусто. Я тогда его не отпустила — я его чаем напоила и сказала: сиди, Гриша, пока я не разберусь. А мне снизу сказали: Мария, отпусти, это по поручению. И я, дочка, его отпустила. И это то, о чём я тебе теперь говорю с той стороны: я отпустила. Это, дочка, моя вина — не по статье, а по совести. По статье там всё чисто: я написала „принято“. А по совести я должна была написать: „человека увозят“. Не написала, дочка. Исправляю. Пусть он тебе скажет то, что не сказал мне. Пусть скажет, что в папке было. А в папке, дочка, — спроси у него про сапоги. Сапоги были в папке. Не сами сапоги — опись. Опись, дочка, на две пары. Сорок шестой размер. Одна пара — на складе. Вторая — в рейсе. И вторая была надета. На кого — это ты у него спросишь. Я не сумею — у меня в журнале отныне только содержание, а в содержании нет места для стыда. А стыд, дочка, это то, что я двенадцать лет хранила в печи вместо угля. Горело хорошо».

Я закрыла журнал. В регистратуре в этот час никого не было — только звонок на стойке, который никто не трогал. Я положила журнал на место и вернулась в палату.

— Гриша, — сказала я. — Про сапоги.

— Про сапоги, — повторил он, и лицо у него изменилось — не сжалось, а как будто прояснилось: вспомнил то, что вспоминать было страшно, и стало легче, потому что страшное, дочка, когда названо, перестаёт расти. — Про сапоги. Это, дочка, я помню. Это, можно сказать, единственное, что я помню целиком. Папка была лёгкая, потому что внутри было не много: опись. Две пары. Сорок шестой размер. И приписка снизу, ручкой, рукой… — он запнулся, — рукой, я сейчас скажу, ровной. Вот этой. Я её не видел — я её слышал. Она писала так, как я вожу: не спеша и ровно, не вылезая из ряда. В описи было написано: «пара первая — на склад, пара вторая — на выезд». И подписано: «по поручению».

— А вы что сделали?

— А я что сделал, — сказал он, и голос стал грузчикским, усталым, честным. — Я отвёз. Мне сказали: на выезд. Я отвёз к колодцу. Там ждали. Я думал — выезд это машина. А выезд оказался колодцем. И тот, кто ждал у колодца, — он был в сапогах. Я их видел. Они были новые. Сорок шестой размер. А нога у него, дочка, была поменьше. Он в них ходил, как в валенках по майскому льду: сапоги держали его больше, чем он их. И он в них спустился. В колодец, дочка. В наш колодец. Я стоял наверху и смотрел, как спускается в колодец человек в казённых сапогах сорок шестого размера, и не мог понять, зачем. А он спустился не за водой.

— За чем?

— За бумагой, — сказал Коровин просто. — За той, что там лежит с семьдесят восьмого года. Он её вытащил, развернул, посмотрел — и положил обратно. Положил, дочка. Не забрал. Он её посмотрел — и положил обратно, потому что забрать её было нельзя: её, видишь ли, кто-то должен был оттуда достать. Сам он достать мог — но не мог забрать. У него, дочка, всё

было по правилам: доставать можно, забирать нельзя. Я тогда не понял. А теперь, дочка, я, кажется, начинаю понимать: он к этой бумаге ходил не первый раз. Он её знает. Она, видать, и его знает. И он ждал, что за бумагой придёт тот, кому можно. Тот, кто имеет право. Тот, кто не по поручению.

Я записала. Рука у меня дрожала — и это я в реестр тоже внесла, потому что рука, дочка, дрожит не от страха: от понимания.

УЛИКА № 12/III

Предмет: Показания Коровина: ровный почерк был у колодца — в казённых сапогах 46-го размера, доставал бумагу семидесятого восьмого года со дна, посмотрел и положил обратно; спуск состоялся в тот самый вторник, когда Коровина сняли с рейса

Ключевая формулировка: «Он ждал, что за бумагой придёт тот, кому можно. Тот, кто не по поручению»

Статус: Зарегистрировано дословно

* * *

Вечером — бабушка. За щами, которые на этот раз были не перекипевшие, а в самый раз, что означало: «дочка, я тебя ждала, а не осуждала».

— Баб, — сказала я. — Коровин вспомнил колодец. Человек в сапогах сорок шестого спускался в колодец и доставал бумагу. Не забирал — доставал и клал обратно. И ждал, что за ней придёт «тот, кому можно».

Бабушка отставила крышку. Постояла. Сказала — и это была реплика, которую я потом перечитывала в тетради больше, чем любую другую:

— Дочка. Ты слушай внимательно, потому что сейчас я тебе скажу то, о чём молчала с восьмидесятого года. Тот, кто спускался в колодец, — это не тот, кто писал. Это тот, кто мог бы помешать писать. И он все эти годы не мешал — а ждал. Понимаешь, разница какая? Писать и не мешать — это, дочка, разные профессии. Но у них один и тот же рабочий кабинет: колодец. И тот, кто сорок восемь лет спустя к сроку прибудет, — он приедет не написать и не мешать. Он приедет исполнить то, что не исполнил тогда: отдать бумагу. Отдать не тебе и не мне. Отдать колодцу. Потому что бумага, дочка, — это обещание, а обещание, между нами, не читают. Обещание исполняют.

— Баб, а если он не приедет?

— Он приедет, — сказала бабушка так спокойно, что мне стало холодно. — Дочка, при него график. Не наш — его собственный. И график не тот, что у нас с тобой: наш можно уволить, а его нельзя. Он — это, дочка, единственный человек в этом районе, который сорок с лишним лет должен системе больше, чем система должна ему. Потому что система обещала за его молчание — а он молчал. Всё это время молчал. И теперь приехал собирать.

Я сидела и смотрела на щи. И это, между нами, был первый раз за всю серию, когда я не знала, что записать. В реестре, дочка, есть графы для улик, для свидетелей, для выводов. А графы для того, чтобы человек сорок лет ждал возвращения врача, которого сам и спрятал, — такой графы нет. Эта графа не в реестре. Она в человеке. И она называется не реестром. Она называется совестью.

РЕЕСТР ГЛАВЫ ПЯТОЙ

Улика: показания Коровина в полном объёме; запись тёть Маши в журнале с признанием «я его отпустила»; опись сапог из папки; показание о недавнем спуске ровного почерка в колодец — в тот вторник, когда Коровина сняли с рейса.

Что это даёт: ровный почерк больше не анонимен — у него теперь есть биография: он бывал у колодца и раньше, бумагу семьдесят восьмого года он знает не по описи, а лично, и он не забрал её, потому что «забирать нельзя». А это, дочка, не бюрократия. Это осознанный выбор, и он страшнее любого приказа: приказ можно отменить, а осознанный выбор нельзя — он живёт с тем, кто его сделал, столько, сколько живёт тот, кто его сделал.

Важность: тёть Маша призналась. Впервые за всю серию источник заговорил о своей вине не через формулировку, а через факт: «я его отпустила». А признание — это единственный документ, который система не умеет подделать: подделать можно подпись, а не раскаяние.

Проверка: во-первых, опись сапог — сверить с инвентарной книгой Тамары Сергеевны, там расход на четыре ведра краски сходится с сапогами; во-вторых, врача по графику — сорок восемь лет: если он все эти годы молчал за обещание системы, то система, дочка, обещала не деньгами. Обещала молчанием. И молчание, между нами, дороже любой взятки, потому что его нельзя потратить — его можно только носить. В-третьих, сопоставить спуск у колодца с датой снятия Коровина с рейса: если это один и тот же вторник — система спускалась за бумагой и в тот же день убрала свидетеля. Такие совпадения в нашей округе не случайны — они расписаны.

Вывод: Коровин не потерян — он отложен. Он ждал того, кто назовёт его по имени, и имя его вернулось с процентами: теперь он помнит колодец, опись и спуск в колодец. Система сделала из человека строку — а из строки, дочка, теперь выходит свидетель. И это, между нами, первый случай в моей практике, когда система своими руками создала себе самого опасного свидетеля: не потому что жестока, а потому что не заметила. А не заметила — потому что не умеет.

Действие: во вторник, к сроку, — на колодец. Не за бумагой: за тем, кто должен прийти к сроку. И если он придёт, дочка, — а я уверена, что придёт, — то встречать его буду не я одна. Встречать будет очередь. Потому что очередь, как сказала Стрельцова, — это войско, которое не надо вести. Его надо разбудить. А разбудить, дочка, я её уже разбудила — и это самое тихое войско на свете: оно не стреляет, оно ждёт.

Реестр открыт. Статус — сверено.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой наступила пятница, Колесников вернулся за подписью, а бланк первый раз выступил против меня

Пятница. День выдачи — так это называется, и я, дочка, должна признать: название точнее всего остального в этой больнице. В другие дни тут выдают справки, направления и отговорки. В пятницу выдают главное — то, ради чего заведены все остальные дни.

В девять тридцать Колесников вошёл без стука — уже во второй раз, и я внесла это в реестр как повторяющийся признак: «дверь без стука — не невежливость, а инвентаризация: человек проверяет, на месте ли то, что он оставил». На стол он положил тот же бланк. Он, видимо, пролежал у него все четыре дня — но лежал бережно, как лежит не бумага, а вклад.

— Дозрели? — спросил он.

— Виктор Аркадьевич. Я переписала бланк в реестр. Дословно. Могу зачитать вам его собственными словами — вдруг вы не слышали, что подписывали.

— Я его не подписывал, — сказал он ровно. — Подписываюсь я. Бланк подписываете вы.

— Тогда зачитаю. Пункт первый: «наблюдатель обязуется по поручению знакомить установленный порядок с результатами наблюдения». Виктор Аркадьевич, вы мне объясните: в этом пункте кто-нибудь из нас двоих знает, что происходит? Потому что у меня не происходит ничего: я наблюдаю, я знакомлю порядок с результатами, а порядок молчит. У вас происходит больше: вы приходите, приносите и просите. Выходит, один из нас работает, а другой служит.

Колесников взял бланк со стола — тем же движением, каким взял в первый раз: не забирая, а забирая обратно.

— Капитан. Я вам скажу как человек, который четырнадцать лет в организационной работе. Бланк — это не ловушка. Бланк — это уважение. Мы могли бы ничего не предлагать: вы и так сидите в кабинете, которую вам выделили, с табличкой и столом. Мы вам ничего не должны. А мы предлагаем форму. Форма, капитан, — это то, что отличает наш мир от вашего. У вас реестр, у нас бланк. Вы пишете для себя, мы пишем для порядка. И тот, кто не заполняет бланк, остаётся в реестре — а реестр, я вам скажу со знанием дела, вещь для внутреннего употребления. Его никто не читает. Его читает тот, кто его ведёт, и всё.

— Виктор Аркадьевич, — сказала я. — Я запомню эту реплику. Она вам ещё пригодится — не в этом разговоре, в другом.

— В каком?

— В том, где вас будут спрашивать, что вы имели в виду. И вы ответите то же самое. Потому что система, когда её ловят на словах, всегда повторяет слова — это её единственная привычка, от которой она не может отвыкнуть.

Он посмотрел на меня секунд пять. Пять секунд — это долго для человека, который приходит и уходит по графику. Потом он сказал спокойно, почти тепло:

— Хорошо. Форму вы не приняли. Тогда перехожу ко второму вопросу. Вопрос организационный. С понедельника кабинет 14 закрывается на переучёт.

Я не переспросила. Это, между нами, было труднее всего: не переспросить.

— Переучёт чего?

— Инвентаря. Стандартная процедура. Следователь, как известно, вещь не инвентарная, поэтому на период переучёта вам предоставляется иное рабочее место — в регистратуре. Со столом. Со стулом. С очередью в окна.

— С очередью, — повторила я. — Виктор Аркадьевич. Вы в курсе, что очередь — это источник?

— Источник чего?

— Показаний. Я не шучу. Вы меня вывели из кабинета — и посадили в регистратуру, к очереди, к журналу и к телефону. У вас там всё, что нужно следователю, кроме тишины. Я подпишу вам благодарность, если надо.

Колесников впервые за два визита улыбнулся — не тепло, а по расчёту, как улыбаются бланки.

— Капитан, вы мне нравитесь. Это плохой знак для вас и хороший для меня: я привязываюсь к людям, которые мне нравятся, и потом у меня с ними бывают сложности. Все, кого я любил в этой системе, кончили тем, что подписали. Не потому что сдались. Потому что устали. Подпись, капитан, — это не согласие. Подпись — это конец усталости. Вы мне когда-нибудь это почувствуете, и в тот день я приду с ручкой.

Он ушёл. Я осталась стоять — и через минуту поняла, что он сделал. Он не забрал бланк и не оставил его. Он забрал время. До переучёта у меня было два рабочих дня: суббота и понедельник. В понедельник кабинет 14 закрывался, и вместе с ним закрывалась комната, в которой я держала реестр под замком. А это значит, что всё, что у меня есть, надо вывозить — или перепрятывать. И это, между нами, был не переучёт. Это был обыск с предупреждением. Система предупреждает всегда: она не боится того, что найдут. Она боится только того, что найдут до срока.

УЛИКА № 13/III

Предмет: Устное уведомление о закрытии кабинета 14 «на переучёт» с понедельника, с переводом наблюдателя в регистратуру

Источник: Колесников, устно, без документа

Формулировка-ключ: «Подпись — это не согласие. Подпись — это конец усталости»

Статус: Зарегистрировано дословно. Формулировка отмечена как повторяемая

Суббота была день коробок. Не потому, что я запланировала, — потому что всё остальное было невозможно: кабинет закрыть на замок нельзя было, реестр вынести нельзя было, а подвал был единственное место в больнице, где меня не ждали и потому не проверяли.

Бабушка Нина открыла подвал без слов. Она открыла мне дверь, зажгла свечу — не потому, что было темно, а потому что свеча у неё была церемониальная: её зажигали только тогда, когда говорили о главном.

— Дочка, — сказала она, когда свеча разгорелась. — Мне Колесников тоже объявил переучёт. Только не мне — печи. Вчера ночью пришёл человек, не Колесников, другой, в казённых сапогах, — и сказал Тамаре: печь на консервацию. С понедельника, дочка, печь будут проверять. Понимаешь, что это значит?

Я поняла. Переучёт кабинета — это верхний этаж. Печь на консервацию — это нижний. Они шли к коробкам с двух сторон одновременно: сверху — через кабинет, снизу — через печь. И то, что они делали это в один понедельник, означало не совпадение. Это означало, что между этажами один коридор, и в этом коридоре у них один график.

— Бабушка Нина. Сколько у нас времени?

— До понедельника, — сказала она. — А понедельник, дочка, — это тридцать шесть часов. И я скажу тебе честно: тридцать шесть часов — это мало. Это очень мало для того, что надо сделать. Потому что то, что надо сделать, — это не вывезти. Вывезти — это всё равно что признать: коробки — имущество. А они, дочка, не имущество. Они показания. А показания, между нами, не вывозят. Показания зачитывают.

— Зачитывают — где?

— Там, дочка, где их слышат. — Бабушка Нина помолчала и добавила: — В холле. В понедельник, в одиннадцать, в холле больницы собирается очередь. Стрельцова собирает. Я не знаю, что они там будут делать — они сами не знают. Но я знаю, что очередь, дочка, собирается не для того, чтобы спросить. Очередь собирается, чтобы ответить. И вот тут у меня к тебе дело, и оно последнее в моём прейскуранте за тридцать шесть часов.

Она сняла с полки коробку — не первую и не двенадцатую: седьмую.

— Коробка семь, дочка. Я её двенадцать лет не открывала — не потому что не могла. Потому что в ней лежит то, что я открыла в тот день, когда её принесла, и с тех пор не открывала второй раз. В этой коробке, дочка, — семейное дело. Не моё. И не Нечаева с Панковой. В этой коробке, дочка, — дело женщины тридцати четырёх лет. Той самой, из ведомости. У неё там, дочка, родных нет — так написано. А я тебе скажу: это написано не потому, что родных нет. Это написано потому, что родных не вписали. А не вписанные родные, дочка, — это самая страшная графа в системе: в ней написано «нет», а стоит человек, и у него, дочка, есть имя.

Она открыла коробку. В ней лежал конверт — не запечатанный, просто сложенный, и в конверте — лист. Лист был старый: смятый на сгибах, с водой по краю — от той воды, что двенадцать лет лежала над коробками в соли.

— Прочитай вслух, — сказала бабушка Нина. — Не мне. Свече. Свеча, дочка, — это первый слушатель: она горит ровно и не перебивает. Я после её послушаю.

Я развернула лист и прочла.

Это было не заявление, не жалоба и не показание. Это было письмо. Женщина тридцати четырёх лет писала родным, которых в ведомости не было. Она писала: «Я не знаю, где вы. Я написала вам три письма и не знаю адреса. Если это письмо прочтёт кто-то чужой — прошу вас, не выбрасывайте. Перепишите его. Перепишите и передайте дальше: может, кто-то из вас узнает меня по почерку. Меня зовут…» — и дальше стояло имя, выведенное ровно, спокойной рукой человека, который писал это письмо не в отчаянии, а в расчёте: чтобы оно дошло.

Я перечитала трижды. И на третий раз поняла: почерк этого письма я знаю. Не точно — по признакам: нажим, наклон, точка над «ё» чуть правее. Это был не тот ровный почерк, что на резолюциях. Это была ровность другого рода: ровность человека, который пишет родным, — аккуратно, чтобы читалось, а не чтобы соответствовало.

— Бабушка Нина. Это же не почерк системы.

— Нет, дочка, — сказала она и закрыла коробку. — Это почерк женщины, которая знала, что её не найдут, и всё равно писала так, чтобы можно было прочесть. Это, между нами, противоположность системы: система пишет, чтобы не читали, а она — чтобы нашли. И вот что я тебе скажу: она это письмо написала не в отчаянии. Она его написала в хронике. Она знала, что найдётся тот, кто будет читать. Она сорок лет рассчитывала на того, кто умеет слушать. И ты, дочка, — этот расчёт оправдавшая.

УЛИКА № 14/III

Предмет: Письмо женщины тридцати четырёх лет из коробки седьмой, с именем и обращением к неустановленным родным

Графа ведомости «родных нет» — опровергается содержанием письма

Статус: Зарегистрировано дословно. Имя внесено в реестр, без публикации — до опознания

Вечером я привезла письмо в горницу — не само письмо, его копию: оригинал остался в коробке, в соли, где ему было место до тех пор, пока не наступит понедельник. За щами — не перекипевшими, не в самый раз, а холодными, что означало: «дочка, я ждала не тебя, я ждала письмо» — бабушка читала копию трижды.

— Баб, что мне делать с понедельником? Кабинет закрывают, печь консервируют, очередь собирается в холле в одиннадцать. Это, между нами, три события, которые не совпадают случайно.

— Не совпадают, — согласилась бабушка и отставила крышку. — Дочка, они выстроены в линию. Слушай расклад. Система делает одновременно два дела: убирает кабинет и консервирует печь. Это значит, что она боится не улик — она боится связи. Улик у тебя теперь много, дочка, и улики по отдельности её не пугают: улика — это бумага, а бумаги у неё много. Она боится, что бумаги соберутся в очередь. А очередь, дочка, — это когда бумаги начинают читать вслух, друг за другом, в одном помещении. Это, между нами, самое страшное для системы зрелище, и она его никогда не видела. Она видела всё: акты, ведомости, реестры. Но она не видела, как её собственные бумаги читают вслух по порядку — с датами, с именами и с теми, кого она не вписала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.